

Альбер Собуль

О принципах Восемьдесят девятого года

в сб. «ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ и РОССИЯ»
(М.: Прогресс. 1989)

веб-публикация: **Vive Liberta**, 14 июля 2014 года

Принципы 1789 г., права человека. Чтобы обрисовать эту историческую проблему, следует избегать поспешных обобщений, равно как и туманных абстракций, двигаясь от почтенных предписаний десяти заповедей вплоть до благородных устремлений Хельсинкской декларации. Понятие и понимание прав человека, в сугубо историческом смысле слова, принадлежит новому времени, эпохе великих революций XVII и XVIII вв., с их надеждами и требованиями, с их ошибками и победами. Выйдя из кабинета философов, чтобы стать революционным лозунгом, требование прав человека выражало потребности и необходимость своего времени, отражало истины реально существовавшего общества. Но если в историческом плане эти принципы и права обладают лишь относительной ценностью, то в глазах революционеров, готовых ради них обречь противников их на смерть или же самим взойти на эшафот, они все-таки обладали ценностью абсолютной.

В основе провозглашенных в 1789 г. «простых и неоспоримых» принципов, составлявших рациональное зерно теории прав человека, лежали два взаимосвязанных понятия: независимость личности и договор, являющиеся основополагающими аспектами философии Просвещения и буржуазной мысли. Появление обоих этих понятий обусловлено историческим развитием. Убеждение, что индивидуум есть некий абсолют, что он обретает в самом себе свой закон и свою цель, утверждается с рождением нового мира, вместе с развитием экономической деятельности и общества, основанного на торговле. Последнему присуще понятие обмена, а следовательно, договора (сделки). Отношения обмена — а это элементарная форма договорных отношений — могут обрести всеобщий характер лишь при условии, что индивидуумы обладают правами, делающими



Чествование Альбера Собуля в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова 31 марта 1982 г.
Фотография.

договор возможным. Они должны быть свободными, поскольку иначе акт обмена недействителен, должны быть собственниками; они должны быть равными, поскольку отношения обмена предполагают паритет. Итак, свобода, равенство, собственность являются основными правами человека. Кроме того, они предпола-

гают всеобщность, универсальность, ибо каждая из договаривающихся сторон выступает лишь как таковая, абстрагируясь от всего, что ее обособливает. Эти новые формы сознания образуют отправную точку всех теоретических построений XVIII в., всей политической философии революционеров. Над их мышлением господствовали эти основополагающие, порожденные самой общественной эволюцией понятия: личность, договор, свобода, равенство, собственность, всеобщность.

А из универсальности проистекает другая черта теории прав человека: ее абстрактность. Человек определяется своими родовыми качествами, абстрагируясь от любых конкретных определений. Единственными аспектами реальной действительности, принимаемыми во внимание, являются личность и национальная общность; все же остальные объединения, сословия, корпорации, общины предаются анафеме как разрушители гражданского общества. Социальные группы и классы со всеми присущими им отличиями и противоположностями начисто исчезают [из лексикона], несмотря на всю необходимость этих понятий для постижения исторического процесса. «Сначала отбросим все факты» — эта вызывающая формулировка Руссо в его «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства между людьми» могла бы быть подхвачена многими революционерами, чье мышление характеризовалось отказом признавать авторитет истории.

Однако невозможно замаскировать очевидную связь между абстрактным индивидуализмом, основополагающей чертой теории прав человека, и интересами буржуазных слоев третьего сословия. Ибо индивидуализм помогал этим буржуазным слоям как в их наступлении на общество Старого порядка, поскольку он отрицал привилегии и юридически закрепленную иерархию, так и в их нежелании принимать в расчет народные требования, ибо индивидуализм упорствовал в непризнании факта существования классов. Здесь достаточно отослать читателя к знаменитым словам из предисловия к «Анти-Дюрингу», которыми Энгельс охарактеризовал как идеологию Просвещения, так и сопутствовавшие ей социальные и политические условия: «Господство разума было не чем иным, как идеализированным господством буржуазии». Можно лишь подписаться под этим утверждением, но в то же время нельзя не подчеркнуть того факта, что благодаря своей абстрактности и своему универсализму теория

прав человека подняла мир и будоражит его до сих пор. Так что надлежит признать и широкую общечеловеческую значимость данной теории, не позволяя в то же время ею себя одурочить.

* * *

Первая революционная партия, выступившая в защиту прав человека, появилась в ходе Английской революции 1640 г. То были левеллеры (уравнители), в борьбе против коалиции Сити и джентри поставившие (в «Народном соглашении»¹) вопрос о правах человека, который с той поры стал программой и орудием борьбы в политических и социальных битвах. Идея и лозунг прав человека стали, таким образом, сущностью крайне левой революционной партии. Однако она не возникла из ничего: через философию томизма она восходит к стойкам Античности, а в первые десятилетия XVII в. эта идея была переосмыслена английскими радикалами-пуританами. После событий 1688—1689 гг., этого второго, на сей раз «респектабельного» эпизода в истории английских революций, Локк изложил в своих трудах теорию прав человека, но изложил ее в таком смягченном виде, который отвечал интересам наконец-то получившей власть *верхушки среднего класса*. В таком виде эта идея и была воспринята эпохой Просвещения, чтобы вновь появиться в конце века в американских декларациях во время войны за независимость. Но здесь она предстает уже лишенной всякой народной окраски, всякого уравнительного привкуса, здесь она увязывается с теорией так называемого естественного права, утверждение которого, сформулированного на этот раз элитой восставших, — а ее хорошо олицетворяет фигура Джефферсона, — отвечало интересам господствующего класса. Однако нельзя умолчать об огромном значении достигнутого тогда прогресса. Вспомним также о влиянии американских деклараций на французскую Декларацию 1789 г.

Среди множества трудностей, которыми были отмечены лето и осень 1789 г., Учредительное собрание силилось переделать Францию на этих новых основаниях. Депутаты Учредительного собрания, будучи людьми века Просвещения, хотели, чтобы общество и институты

¹ Проект широких политических реформ. *Прим. ред.*

покоились на разумных основаниях; отсюда торжественно провозглашенные ими принципы и права. Но, будучи представителями буржуазных слоев и их интересов, борясь как против аристократической контрреволюции, так и против устремлений народных масс, эти люди не остановились перед тем, чтобы приспособить свое творение к интересам своего класса, невзирая даже на ими же провозглашенные принципы и права. Перед лицом меняющейся действительности они стали маневрировать и в конце концов отступили перед обстоятельствами. Отсюда — противоречивость их творения.

Эти принципы и права нашли свое яркое выражение в Декларации прав человека и гражданина, принятой 26 августа 1789 г. Согласно ее преамбуле, «невежество, забвение и пренебрежение» к этим правам являются «единственными причинами общественных бедствий и разложения правительств». Отныне требования граждан, «основанные на простых и бесспорных принципах», будут всегда обращены к поддержанию конституции и к «общему счастью». То была оптимистическая вера в господство высшего разума, столь характерная для века Просвещения.

Декларация прав человека стала с того момента *евангелием* и *катехизисом* нового порядка: *национальным катехизисом*, по определению Барнава, *политическим евангелием*, согласно Мирабо. Конечно, не все идеи членов Учредительного собрания нашли свое отражение в Декларации. В ней в явной форме не говорилось об экономической свободе, которую новая буржуазия ставила превыше всего. Но в своей преамбуле и в своих составленных несколько беспорядочно 17 статьях Декларация определяет существо прав человека и прав нации, делая при этом акцент на всеобщности этих понятий, в чем она заметно превосходит английскую с эмпирическим характером ее свобод и американские Декларации с их противоречивостью. Для депутатов Учредительного собрания 1789 г. присущие человеку права принадлежали ему еще до появления какого бы то ни было общества и государства; согласно преамбуле, это «естественные, неотъемлемые и священные» права, сохранение которых является целью всякой политической ассоциации (статья 2). Согласно статье 1, которая гласит: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах», эти права принадлежат всем людям. Предполагается, что права эти, подобно знанию, основываются на разуме.

Более того, эти права, торжественно провозглашенные, к которым все еще взывают, одни — с величайшим энтузиазмом, а громадное большинство — с глубочайшим уважением, предстают как спасительная доктрина. В этом плане революционный период — это единственный в истории Франции период торжества принципов. Его символом могут служить знаменитые слова Робеспьера: «Пусть лучше погибнут колонии, чем хотя бы один принцип». Это — исторические слова, свидетельствующие не только о политическом выборе, но и о революционной этике.

И если с 1789 до II г. к принципам особенно страстно взывали революционеры, к ним апеллировали также и их противники, которым приходилось следовать за революционерами по этому пути, хотя лишь в исключительных случаях истинным принципам противопоставляли ложные, хорошим — плохие. Настолько их значимость и универсальность были очевидны! Когда дело касалось принципов, не могло быть и речи о компромиссах. Отсюда постоянные ссылки на эти принципы, начиная с текста «О принципах конституции Франции и Генеральных штатов» весны 1789 г. и вплоть до доклада Робеспьера «О принципах революционного правительства» (5 нивоза II г. — 25 декабря 1793 г.).

Само собой разумеется, к принципам обращаются тогда, когда речь заходит о закладке основ нового общества, следовательно, во время обсуждения конституции. Так было в ходе дискуссий 1789 г., которые должны были завершиться выработкой так называемой Конституции 1791 г.; так было и в июне 1793 г. во время дискуссий, предшествовавших принятию конституции монтаньяров, наконец, то же происходило и весной 1795 г. перед принятием термидорианской Конституции III г. Но к принципам могли воззвать в любой момент политической борьбы, оправдывая тем самым ту или иную политическую линию. Тем более к принципам взывают тогда, когда принципы эти самым явным образом нарушаются: например, при принятии цензовой системы, которая лишила *пассивных* граждан политических прав, или же когда в этих правах было отказано свободному цветному населению.

Первой отличительной особенностью принципов является их самоочевидность. В своих «Взглядах на исполнительные средства, которыми смогут располагать представители Франции в 1789 г.» Сиейес объявляет, что «законода-

тельная власть принадлежит нации». Он продолжает: «Нашим противникам будет не по душе эта сила очевидности, которая вытекает из наблюдения за природой вещей». И далее: «Источником этих принципов является очевидность». Как писал Лустало в своей газете «Революсьон де Пари» (*“Révolutions de Paris”*, № 37, 20—30 mai 1790), «в политике, как и в морали, существуют настолько самоочевидные принципы, что поверить в честность тех, кто их нарушает, просто невозможно».

Самоочевидность принципов проистекает из их извечного и универсального характера. Как пишет Сиейес в своих «Взглядах на исполнительные средства...»: «Нет ничего более древнего и более почтенного, чем идеи, которые приводят к истине. И как раз заблуждение — это новое явление в извечном порядке вещей, из которого людям уже давно пора почерпнуть наконец истинные социальные принципы». Никто в большей мере, чем Робеспьер, не ссылается на «эти незыблемые принципы справедливости и разума... единственные основы общественной свободы и счастья» (7 апреля 1791 г.), на «эти извечные и нерушимые принципы свободы, применимые ко всем видам правительств» (19 апреля 1791 г.). «Признаюсь,— говорил Робеспьер,— что я никогда не рассматривал эту Декларацию прав как пустую теорию, но взирал на нее как на универсальные, неотъемлемые и незыблемые правила справедливости, призванные найти себе применение у всех народов». Таким образом, права человека воспринимались одновременно как действительность и как идеал, и на этом основании нельзя не признать их высокую эффективность в революционной борьбе.

* * *

Авторитет принципов признавали, однако, далеко не все, они отнюдь не пользовались всеобщим признанием; более того, обстоятельства могли вынудить даже наиболее убежденных приверженцев этих принципов обойти их или отступить от них, а подчас отречься от них во имя «принципов иного порядка».

Итак, с одной стороны, имеет место отказ

от принципов: так, осенью 1789 г. во время принятия цензовой системы они были преданы большинством членов Учредительного собрания, которые сами же до того их провозгласили. «Почему же,— вопрошает Сиейес,— раз уж принципы эти почерпнуты из самой очевидности, у нас остается некое предчувствие вовсе не увидеть их принятия? Разве сама очевидность не является залогом и мерой того впечатления, какое эти добрые принципы должны произвести на умы всех людей?» Лустало с некоторым оттенком горечи констатирует, что «мало найдется людей, кои, стремясь скорее выполнить свой долг, нежели снискать аплодисменты, ведут себя по отношению к принципам, как г-н Робеспьер, ... не прекращая взывать к священным правам народа, даже предвидя, что этими правами пожертвуют» (*“Révolutions de Paris”*, № 43, 1-8 mai 1790). На протяжении всего периода деятельности Учредительного собрания Робеспьер действительно не переставал протестовать против забвения принципов, записанных в Декларации прав: «Не придем ли мы таким образом к тому, что станем взирать на эти вечные истины, на которых зиждутся права человека и счастье общества, лишь как на пустую теорию, призванную служить достоянием моралистических книг» (7 апреля 1791 г.).

В основе отказа от принципов лежали своекорыстные интересы и предрассудки: но не было ли это в конечном итоге одним и тем же? Что до первых, то подтверждением тому служит пример Мирабо, подкупленного двором. По словам Лустало: «В многочисленных собраниях всегда есть люди, которых привычка к большим расходам при ничтожных финансовых возможностях отдаст во власть ловкого министра... Другие же, побуждаемые честолюбием, колеблются между принципами и своекорыстным интересом и попеременно поддерживают ту или иную точку зрения, которая в наибольшей мере потакает их эгоизму» (*“Révolutions de Paris”*, № 47, 29 mai — 5 juin 1790). Но кроме своекорыстных интересов, существуют еще предрассудки, о всемогуществе которых не следует забывать, как замечал Марат по поводу представителей, «осмелившихся предложить» вето.

Таким образом, хотя принципы являются элементарными понятиями, доступными для всех благодаря простой интуиции, они непрестанно предаются забвению из-за корыстных интересов или предрассудков, при очевидной их взаимосвязанности. По мнению Марата,

забвение принципов обнаруживает не что иное, как коррупцию и пренебрежение «государственных людей» своими обязанностями.

С другой стороны, имеет место нарушение принципов: действительно, случается так, что обстоятельства «властной необходимости» вынуждают преступить принцип. К этому аргументу апеллировали умеренные, когда обсуждался вопрос о предоставлении политических прав свободным цветным. «О, почему,— восклицает Дюкенуа,— наши отвратительные общественные институты непрестанно вступают в противоречие со священными законами природы?» (*“L'Ami des patriotes”*, № 25, 24 mai 1791). Но такого рода необходимость возникает и для патриотов, наиболее непоколебимых приверженцев принципов.

Начиная с 1789 г. контрреволюционеры немало потешались, обличая противоречия, в которых погрязли патриоты и от которых не смогли освободиться и якобинцы. «Негры наших колоний и прислуга в наших домах,— иронизировал Ривароль,— могут, опираясь на Декларацию прав, лишить нас нашего наследственного достоинства. Как может собрание законодателей притворяться, будто оно не ведаёт того, что естественное право и право собственности не могут сосуществовать бок о бок ни единого мгновения» (*“Journal politique national”*, № 19, конец августа 1789 г.). Здесь Ривароль, журналист-аристократ, затрагивает проблему противоречивости самих принципов 89 г., подчеркивая непоследовательность самой их системы.

Речь шла о том, чтобы провозгласить принципы, выявить наиболее общие основания для организации общества, создать систему, могущую служить вдохновителем и организатором политических действий. Но их противники не упускали случая возразить, что так называемые принципы взаимопротиворечивы и тем самым исключают друг друга. В эфемерной газетке с многозначительным названием «Независимые» (*«Les Indépendants»*) академик Сюар публикует пространную статью «О принципах» (25 апреля 1791 г.). В ней он, в частности, утверждает: «Не существует другого такого слова, которое произносилось бы чаще в ходе политических дискуссий, чем слово *принцип*, но мало найдется слов, в понимании смысла которых было бы столько расхождений». И далее он продолжает: «Когда говорят, что принцип повелевает это или повелевает то, я испытываю

опасения, как бы порой таковой принцип не стали воспринимать в качестве своего рода оракула, чей авторитет проистекает из неведомых источников, и использовать его как доказательство, согласившись с тем, что сам он и не нуждается в доказательстве». Приверженец Лафайета редактор газеты «Фей дю жур» в номере за 18 января 1791 г., говоря о кампании якобинцев против «Общества друзей монархической Конституции», еще более язвительно указывал на непоследовательность системы принципов. Апелляция к одному принципу приводит порой к непредвиденным и нежелательным последствиям, и тогда приходится ссылаться на иной принцип.

В данном случае речь шла о споре, в ходе которого выявилась противоречивость и в конечном итоге бессилие идеологии 89 г. Ведь осуждение всякой «частичной ассоциации» являлось основополагающим принципом политики депутатов Учредительного собрания в противовес упорядоченной корпоративной иерархии, характерной для общества Старого порядка. «Частичные ассоциации» были осуждены Руссо в «Общественном договоре» (книга II, глава 3). «Для проявления всеобщей воли важно,— писал Руссо,— чтобы в государстве не существовало частичных обществ и чтобы каждый гражданин высказывал свое суждение, лишь согласуясь с самим собой». Патриоты непрестанно ссылались на это высказывание. Ведь принцип этот служил оправданием ликвидации юридической структуры общества Старого порядка, разрушением всякого рода партикуляризма. Однако на практике оказалось, что такого рода *частичные* ассоциации, а именно клубы, стали решающим фактором революционного действия. Подобная дилемма позволила журналисту «Фей дю жур» утверждать, что якобинцы нарушили свои собственные принципы, чью нелепость больше нечего и доказывать. «Природа вещей всегда сильнее, чем воля людей»,— заключает он.

Но если на первом этапе революции этот принцип (осуждения частичных ассоциаций) служил разрушению общества Старого порядка, то на втором этапе он позволял сглаживать социальные антагонизмы внутри третьего сословия к выгоде нового господствующего класса. С этой точки зрения принятие 14 июня 1791 г. закона Ле Шапелье, направленного против коалиций, было весьма красноречивым эпизодом. «Несомненно, всем гражданам должно разрешить собираться, но нельзя дозво-

лять гражданам определенных профессий собираться во имя их якобы общих интересов. В государстве нет больше корпораций; нет более ничего, кроме частного интереса индивидуума и интереса общего... Следует поэтому исходить из принципа, что определять поденную плату для каждого рабочего надлежит на основании свободных соглашений одного индивидуума с другим». Ни один демократ, ни в Собрании, ни из числа журналистов, ни Марат, ни Робеспьер, не протестовали против того, как Ле Шапелье истолковал Руссо. Ведь в их глазах индивидуалистическая идеология *Договора* являлась единственным путем, позволяющим установить равенство прав; теория прав человека обходила конкретные социальные отношения. Но то юридическое оружие, которое послужило свержению Старого порядка, обернулось теперь против революции: в этот день правые аплодировали данному «принципу» и требовали его применения в отношении клубов и народных обществ.

Таким образом, принципы, составлявшие теоретический фундамент революционной концепции прав человека, породили двойное противоречие. Р. Барни говорит о «двойном предательстве», как в отношении аристократической реакции, так и в отношении народного движения.

Что касается народного движения, то буржуазия Конституанты приспособила теорию прав человека к своим интересам господствующего класса; этот шаг связан с ее поисками в период 1789—1791 гг., под воздействием социального страха, компромисса со знатью и монархией. Демократы с полным на то основанием обличали забвение или предательство принципов «новыми аристократами», тогда как аристократия использовала это для дискредитации прав человека.

Что касается аристократической реакции, то буржуазия Конституанты, не колеблясь, хотя и не без некоторого замешательства, предала свои собственные принципы в тот момент, когда к ним не без задней мысли стала взывать аристократия. Это проявилось в вопросах императивного мандата и практики прямой демократии, на которые стала ссылаться правая в ходе обсуждения конституции осенью 1789 г. В своей газете «Револьюсьон де Пари», («*Révolution de Paris*», № 20, 21—28 novembre 1789) Лустало признается в своем замешательстве: «Ясно, что императивный мандат отвечает определенным демократическим требованиям: но как показывает опыт, прямой демократии

сопутствуют определенные опасности и сама она может превратиться в средство, препятствующее эффективному развитию демократии». Лустало озабочен тем, что «в данный момент принципы, несомненно, могут благоприятствовать коварным замыслам врагов свободы». И все же он спохватился: «Нельзя поступать вопреки принципам». Однако в июне 1790 г., касаясь иной проблемы, но излагая ее в тех же выражениях, Лустало дошел до признания некоторых «разумных исключений».

Робеспьер был, без сомнения, единственным деятелем, который на протяжении всей Революции без боязни брался за рассмотрение этой проблемы, умел разглядеть западню и разрешить противоречие не на уровне чистых принципов, подозрительное использование которых реакцией и контрреволюцией он отмечает, а в политическом плане, посредством анализа соотношения сил, а в конечном итоге, посредством классового анализа, подспудно направленного против абстрактной теории прав человека. Так было 27 июля 1789 г., когда был затронут вопрос о тайне переписки, которая относится к «великому принципу» уважения свободы личности. Но ведь речь шла о пакете писем, адресованных уже эмигрировавшему графу Артуа и изъятых у предполагаемого заговорщика. «Некоторые высказывают возражения и сомнения, ссылаясь на неприкосновенность переписки,— воскликнул Робеспьер, выступая в Учредительном собрании,— однако все эти правила здесь неприменимы. Они должны отступить перед принципами иного, высшего порядка, а именно перед принципами спасения народа». Столь же прозорливой и смелой была позиция Робеспьера в ходе дебатов относительно королевского вето в сентябре 1789 г., но обращался он к некоторым патриотам, соблазнившимся ложным аргументом, будто вето послужит средством демократического контроля за Законодательным собранием. «Кое-кто [в том числе некоторые из будущих жирондистов: Бриссо, Петион и т. д.] любит представлять себе приостанавливающее вето короля в виде идеи обращения к народу, в котором видят верховного судью, выносящего решение о предлагаемом законе в случае спора между монархом и представителями народа. Но как же можно не заметить с самого начала, насколько эта идея химерична? Я предоставляю воображению здравомыслящих граждан заботу подсчитать все оттяжки, колебания, тревоги, которые может породить столкновение мнений

в разных частях этой обширной монархии, и возможности, которые монарх сможет извлечь из этих разногласий и анархии, их неизбежные следствия, чтобы наконец утвердить свое могущество на обломках законодательной власти».

Если Робеспьер и был наиболее твердым приверженцем принципов, он тем не менее не был их пленником. Он умел заменить ссылку на принципы ясным политическим анализом, умел преодолеть непримиримый антагонизм теории и практики, принципов и обстоятельств, учесть развитие исторических событий, не откачиваясь от основополагающих принципов. В наиболее чистом виде эти качества Робеспьера проявились в его выступлении 5 нивоза II г. (25 декабря 1793 г.), которое было посвящено принципам революционного правительства и в котором он проводит различие между конституционным правительством, чья цель — сохранение республики, и революционным правительством, цель которого — создать республику. «Революция — это война свободы против ее врагов», которые, следовательно, не имеют права апеллировать к принципам свободы. «Если они ссылаются на буквальное выполнение конституционных сентенций, то лишь для того, чтобы безнаказанно их нарушать; это подлые убийцы; для того, чтобы без риска задушить республику в колыбели, они стараются связать ее неопределенными правилами, от которых они сами умеют легко отделаться». Отсюда возникают «принципы иного порядка», как выразился Робеспьер 27 июля 1789 г., принципы, которые порождены необходимостью революционной борьбы и потребностями общественного спасения.

Между отвлеченным характером принципов и прав и политической действительностью охваченного революцией общества не могло не существовать постоянного конфликта. Реальные потребности революции неизбежно сталкивались с идеальным характером революционных деклараций о правах. В своем ответе жирондисту Луве от 25 ноября 1792 г. Робеспьер выразился предельно ясно. «Неужели вы хотите революции без революции?» — спрашивал он. Иными словами, революции без нарушения закона, без насилия и несправедливости. «Но все это было противозаконным, столь же противозаконным, как революция, как свержение монархии и падение Бастилии, столь же противозаконным, как сама свобода... Какой народ смог бы в этих условиях свергнуть когда-нибудь иго деспотизма?» Революция может

и должна повиноваться лишь своему собственному закону, и закон этот суть спасение революции, т. е. установление нового порядка, гарантий прав, «мирное пользование свободой и равенством». Так соединяются крайности — права человека и революционное правление. В своем докладе, посвященном общей полиции (26 жерминаля II г. — 15 апреля 1794 г.), Сен-Жюст в свою очередь вопрошал: «Принципом республиканского правительства является добродетель, в противном случае — террор. Чего хотят те, кто не желает ни добродетели, ни террора?» А вот слова Робеспьера: «Разве сила создана ради того, чтобы покровительствовать преступлению?» Будучи единой и неделимой, как сама Республика, Французская революция неотделима ни от террора, ни от прав человека. Террор возникает в исторических условиях 1793 г. как неизбежное следствие принципов, как средство революционной защиты прав человека.

* * *

По мере развития и радикального углубления Французской революции проблема прав человека обретает новое значение. В силу неизбежной внутренней логики развития с 1789 г. по 1793 г. революция утверждает не только как революция во имя свободы, но и как революция во имя равенства. Коренным образом изменился характер и смысл прав: от либерального и умеренного их истолкования в буржуазном смысле слова — к демократическому, в якобинском понимании. Теперь уже речь шла о том, чтобы объединить народ вокруг революционной буржуазии и Конвента при этом, однако, не уступая народу власти. Декларация прав, предпосланная Конституции, вотированной 24 июня 1793 г., идет дальше, чем Декларация 1789 г., провозглашая в своей первой статье, что «целью общества является всеобщее счастье». Она подтверждает право на труд, на вспомоществование, на образование (статьи 21 и 22) и признает не только право на сопротивление угнетению (статья 33), которое содержалось уже в Декларации 1789 г., но также и право на восстание (статья 35).

Означает ли это, что принципы 1789 г. и принципы 1793 г. противоречат друг другу? Конечно, нет. Определение собственности не было изменено [в Конституции 1793 г.], как то 24 апреля 1793 г. предлагал сделать Робеспьер;

кроме того, экономическая свобода, о которой в Декларации [1789 г.] не говорилось ни слова, была недвусмысленно определена в статье 17. Однако права в монтаньярской Конституции 1793 г. отличались от прав в Конституции 1789 г. не столько своим содержанием, сколько их истолкованием: в первом случае — плебейским и волюнтаристским, во втором — аристократическим и буржуазным в духе Конституанты. И те и другие утверждают непреходящие принципы, ибо принципы эти вытекают из естественного права, верховного закона для людей. Поэтому и те и другие рассматриваются как общие для всех времен и народов.

Но уже ставшие объектом атак со стороны аристократической реакции, осуждаемые церковью и монархами Старого порядка, права человека начинают теперь подвергаться критике и со стороны оппозиции слева, которая подчеркивает их иллюзорный характер. Хотя «бешеные» и не нападали открыто на принятую Конвентом Декларацию прав, однако своими поправками и дополнениями они тем не менее поднимали главную проблему.

Еще в 1790 г. аббат Доливьё в работе «Национальная воля...» («*Le voeu national...*»), вслед за которой он пишет «Первое следствие» («*Premier suite*»), критикует абстрактный характер прав человека с точки зрения равенства, признавая при этом за ними их основополагающее значение. Абстрактный характер *равных* прав является мошенничеством со стороны власть имущих и богатых. В действительности не существует *равных* прав, поскольку условия их осуществления конкретны. Обещать *бедняку* права, которыми он не может воспользоваться, — это всего лишь жестокая шутка. Депутаты Учредительного собрания говорили о равенстве прав лишь затем, чтобы лучше сохранить *естественное* неравенство в средствах. «В противоположность этому, — утверждает Доливьё, — я хочу, чтобы общественное устройство установило справедливое равенство в средствах... благодаря чему каждый из членов общества сможет в полной мере воспользоваться правом, которое ему принадлежит». Права, средства... «Я не понимаю этого различия, поскольку то, что называют средством, в действительности является тем, что создает право», — пишет Доливьё. Речь идет о критически осмысленных перспективах на будущее. Но все это пишется в 1790 г., Доливьё не освободился еще от идеологии 1789 г. Он вопрошает, каким

образом провозглашение прав могло привести к тому, что так называемые обладатели этих прав оказались лишенными их. По мнению Доливьё, изложение [этих прав] должно быть четким и носить обязательный характер. «Этот акт... должен быть изложен столь наглядно, доказательно, что чем больше будут люди размышлять над ним, тем больше будет их потрясать истинность его принципов; ибо малейшая двусмысленность или небрежность быстро превратятся в непреодолимое бремя различных притязаний, которые вновь ввергнут нас в хаос, из коего мы вырвались, и лишат нас, быть может навечно, наших столь ненадежно восстановленных прав», — пишет Доливьё. Налицо, таким образом, вера в возможность постижения вечной абсолютной истины, а также вера во всемогущие слова, вполне согласующаяся с идеологией Просвещения, чью несостоятельность, когда речь идет об осуществлении ее принципов, тот же Доливьё подчеркивает. Для Доливьё характерно ясное осознание конкретных социальных отношений с присущими им неравенством и классовыми антагонизмами. Но ему не удалось разрешить эту проблему, впрочем поставленную им с исключительной ясностью.

Уже в 1791 г. Бабёф задавался вопросом о том, что следует сделать, чтобы права, провозглашенные Учредительным собранием, не остались бы «грозными, но лишенными смысла словами». В первом письме к Купе из Уазы от 20 августа 1791 г. Бабёф в свою очередь поднимает основную проблему прав и средств. «Кто станет дорожить одним формальным равенством? — пишет он. — В самом деле, нет ни одного мотива, который можно было бы привести в пользу его сохранения, да оно и не заслуживает того, чтобы народ ради него поднялся. Равенство не должно служить освящением ничтожной сделки. Оно должно проявиться в значительных, положительных результатах, в делах, кои легко оценить, а не в химерических абстракциях».

В 1793 г. «бешеные» попытались на практике преодолеть «химерическую абстрактность» принципов 1789 г.

Восьмого июня Варле зачитал перед Генеральным советом Коммуны свое «Торжественное провозглашение прав человека в социальном состоянии». В нем говорилось, что с помощью законных средств должно быть покончено с «неравенством состояний».

Двадцать пятого июня 1793 г. Жак Ру не побоялся в Конвенте обрушиться на Декларацию

прав, только что одобренную Конвентом. Он подверг критике абстрактный характер Конституции. «Свобода — лишь пустой звук, когда богатый благодаря монополии пользуется правом распоряжаться жизнью и смертью себе подобных». Жак Ру не осуждает прав человека, но объявляет их неполными: «Вы не сделали всего для счастья народа... Депутаты Горы! Нет, нет, вы не оставите вашего дела незавершенным». В понимании Жака Ру «народ» — это «обездоленный рабочий», «самый трудолюбивый класс общества», «три четверти всех граждан». Что до «кровопийц» народа, притесняющих патриотов, то Жак Ру исключает их из числа лиц, пользующихся правами человека. «Неужели собственность мошенников более священна, чем жизнь человека?» Жак Ру затрагивает и проблему средств, а точнее, экономических условий, обуславливающих права человека. «Вы освятите общие репрессивные принципы против спекуляции и скупки».

Двадцатого августа 1793 г. Феликс Лепелетье от имени делегатов первичных собраний провозгласил в Конвенте: «Недостаточно того, чтобы Французская республика основывалась на равенстве, нужно еще, чтобы законы и нравы ее сограждан вели, в условиях счастливого согласия, к исчезновению неравенства пользования благами». Необходимо преодолеть абстрактный характер принципа равенства и создать конкретные условия для действительного равенства. Дабы права человека пребывали в гармонии с конкретными социальными условиями.

После всего этого как не понять, что в новых социальных и экономических условиях принципы и права человека обретают новое содержание и новое определение? Французская декларация прав 1789 г., как и американская Декларация 1776 г. на протяжении двух веков служили своего рода маяками, да и теперь оказывают влияние на мир, олицетворяя ценности того общества, которое утвердилось в конце XVIII в. в своей революционной новизне. Но подобный ретроспективный взгляд позволяет увидеть и присущую этим принципам ограниченность. Так же как невозможно свести к общему знаменателю и примирить права, свободы и вольности общества Старого порядка и права и принципы, провозглашенные в 1789 г. буржуазией Учредительного собрания, точно так же нельзя отказать и обществу, желающему быть социалистическим, в его стремлении дать правам человека такое определение и содержание, которые соответствовали бы его принци-

пам и особенностям классовой структуры. Между правами и принципами 1789 г. и социалистического общества существует не столько противоречие, сколько преемственность и дальнейшее развитие на долгом и тернистом историческом пути.

* * *

Так, в период 1789 — 1793 гг. утверждается сила принципов как в их абсолютном, основополагающем значении, так и в их практическом значении. Нам остается теперь рассмотреть вопрос об использовании слов, о злоупотреблении ими и о таящейся в них опасности.

Начиная с 1789 г. свобода слова и печати стала рассматриваться как основа всех других свобод. Летом 1791 г., когда в ходе первого значительного столкновения между буржуазией Учредительного собрания и народным движением казалось, что эта свобода под угрозой, редактор «Револьюсьон де Пари» («*Révolutions de Paris*», № 110, 13—20 août 1791) писал: «Природа наделила человека исключительным даром, даром мысли и слова, без которого общественная система не могла бы существовать». Фраза эта, отождествляющая слово и мысль и утверждающая веру в немедленную политическую действенность этого слова — носителя мысли, способного моделировать социальную действительность, могла бы относиться к любому периоду Революции. Язык сообщает мысли конкретное выражение, т.е. делает возможным передачу мысли другим; язык, точнее — слово, приобретает тем самым подлинную власть творца. Отсюда важность и ожесточенность иных споров о словах. По наблюдению Фонтана, высказанному им в «Журналь де ла вилль э дэ провэнс» («*Le journal de la ville et des provinces*», 19 octobre 1789), «на протяжении целых веков люди спорили о словах... Впрочем, поскольку слова формулируют законы, именно слова правят людьми».

Могущество слов! Некоторые слова в то время воспринимались людьми как одушевленная сила, чье воздействие ощущает на себе сама история. Свобода, равенство — вот излюбленные слова, слова-двигатели, которые с 1789 г. и вплоть до II г. будоражили воображение, воспламеняли чувства, побуждали действовать, не останавливаясь перед крайними жертвами. Ре-

волюция явилась временем невиданного накала страстей, возвышавшего сердца и души. Это не могло не отразиться в языке, слова которого обрели новую силу. «Свобода, дорогая Свобода, сражайся бок о бок со своими защитниками!» И Свобода сражалась бок о бок с волонтерами 1792 г. и солдатами II г.; она победила под Вальми, Жемаппом, Флерюсом. Однако слово «равенство» стало провозвестником рождения нового справедливого общества, жизнь в котором должна быть лучше. Подобный миф, вдохновлявший наряду с народными массами некоторые категории буржуазии, с 1789 и до II г. был одним из самых мощных рычагов революционной борьбы. Он сохранился и в республиканской традиции.

Однако слова, обретшие такое могущество, таили в себе опасность...

Действительно, в рядах правых аристократы и умеренные осуждали «это злоупотребление словами», указывали на опасность опрометчивого и ошибочного использования определенных выражений. В газете «Эндепандан» («*Les Indépendants*», 25 juin 1791) академик Сюар раздраженно замечает: «Один придает словам слишком много новых значений, другой оставляет за ними слишком много значений старых. Разговор нынче ведется гораздо больше, чем когда бы то ни было... но зато понимают теперь друг друга значительно хуже». Осуждалась и «словесная дерзость тех, кто не испытывает потребности задуматься над тем, что они говорят». Признавалось необходимым определить точное значение слов, договориться об их употреблении. Как писал в свою очередь Дюкенуа в газете «Ами дэ патриот» («*L'Ami des patriotes*», 6 août 1791), «нам необходимо провести основательное уточнение выражений, употребление которых стало для нас привычным и которые все повторяют и при этом не понимают». Правые мечтали о введении некоего предписанного, раз и навсегда утвержденного языка, что послужило бы громадным подспорьем в деле удушения революционного движения. Начиная с 1789 г. умеренные объявили войну новым словам или новым значениям слов, которые они рассматривали как причину социально-политических беспорядков. Тем более что народные массы, *толпа*, непосредственно участвовали в политической жизни и, употребляя слова, вкладывали в них противоположный смысл, ввиду отсутствия образования или под воздействием страстей. Как писал в 1790 г. один кюре из Меца: «Злоупотребление словами, будь то *свобода* или *рабство*,

аристократия или *демократия*, *деспотизм* или *патриотизм*, достигло сегодня такого размаха, что скоро никто не осмелится эти слова произносить».

В 1791 г. в газете «Эндепандан» («*Les Indépendants*», 26 avril 1791) Сюар осудил следующие два положения: суверенитет пребывает в народе, а также другое — люди являются свободными и равными в правах. Он признал, что речь, несомненно, идет «о двух истинах, столь же неоспоримых, сколь и важных». «Но неопределенность выражений породила множество недоразумений благодаря усилиям наших резонерствующих патриотов и газетных законодателей, которые каждое утро дарят всему миру свет по цене два су за лист; и что весьма прискорбно, эти недоразумения причинили больше бед, чем предполагают». Двенадцатого вандемьера III г. (3 октября 1794 г.) депутат Ламбер жалуется Комитету общественного спасения на неосторожное употребление выражения *суверенный народ*. «Только народу, — утверждает он, — взятому в целом, принадлежит подлинный суверенитет. Из этого следует, что по самой своей сути суверен является единым и неделимым, что это — чисто метафизическое начало, иными словами — выражение общей воли». Но для народа суверенитет был понятием весьма конкретным, состоящим из плоти и крови; это был сам народ, осуществляющий свои права в секционных собраниях.

Таким образом, язык выступает как система интерпретации, как выражение и одновременно орудие классовой борьбы. Поэтому умеренные и аристократы и считали необходимым установить точный смысл слов. В газете «Ами дэ патриот» («*L'Ami des patriotes*», 22 juillet 1791) Дюкенуа потребовал регламентировать употребление некоторых ключевых по своей значимости слов. «Если, — писал он, — ложное употребление слова *народ* было уловкой и орудием в руках людей злокозненных, то оно служило оправданием в глазах простаков и доверчивых... Следует очень суровыми мерами навести хоть какой-то порядок в вопросе употребления слова *народ*, не позволяя использовать его в иных значениях, кроме того, какое оно должно иметь».

В рядах левых, где также отдавали себе отчет в мобилизующей силе слов, подход к этому вопросу был как бы симметричным. В газете «Революсьон де Пари» («*Révolutions de Paris*», 7—14 novembre 1789) Лустало отмечает это могущество слова. «Слово *аристократ*, — пишет

он,—способствовало Революции не меньше, чем кокарда. Значение этого слова сегодня весьма широко. Оно применяется ко всем, кто живет за счет злоупотреблений, кто сожалеет о злоупотреблениях или стремится возродить новые. Аристократы пытались убедить нас в том, что слово это потеряло свое значение, но мы не попались в эту ловушку. И по мере того как дух просвещения продвигается вперед, все дальше отбрасывая отстающих аристократов, клеветы этих последних почувствовали, что они погибнут, если не изобретут слова, чья магическая власть подорвет могущество слова *аристократ*».

Журналисты-патриоты, в особенности Лустало, осуждали привычные словоупотребления, в которых утверждалось понимание времен Старого порядка, анализировали общеупотребительные слова, где сталкивались противоположные понимания, что было отражением классового противоборства, превозносили точность словоупотребления, согласующуюся с демократической доктриной прав человека. «Для создания нового хорошего закона,—писал Лустало в «Революсьон де Пари» (24—31 октября 1789 г.),—следует отбросить не только старые слова, но и старые идеи, которые с ними тесно связаны». В номере за 7—14 ноября 1789 г. он предостерегает патриотов, анализируя, не без проницательности, все возможности, какие извлекает политическое жульничество из ловкого словоупотребления. «Нарочито неправильно употребление слов всегда было одним из главных средств, использовавшихся для порабощения народов... Поостережемся, граждане, чтобы не дать себя одурачить словами: ведь если исполнительной власти удастся навязать нам нужный ей смысл некоторых выражений, то тогда она сможет изображать, что делает одно, а в действительности делать другое и мало-помалу под шумок разговоров о свободе она опутает нас цепями». Пророческий взгляд.

На смену зре слов, порождавших иллюзии, пришла эра слов обмана. Утомление, а затем и разочарование пришли на смену надеждам и мечтам. Деревья свободы, насаждавшиеся с 1789 г., были спилены после термидора. В своей «Истории религиозных сект» Грегуар писал в 1810 г.: «Чтобы сохранить какое-либо явление, изменяют термины; ...в других случаях слова сохраняют, чтобы скрыть изменения, происшедшие с явлением. Свобода печати? Но здесь слово *предотвращать* имеет то же значение, что и слово *подавлять*... Некогда

в Генуе слово *свобода* украшало кандалы галерных узников».

После того, как 18 брюмера VIII г. к власти пришел Бонапарт, обман стал вполне осознанным и систематическим. В прокламации консулов от 24 фримера (15 декабря 1799 г), представлявшей Конституцию VIII г., говорилось: «Конституция основывается на истинных принципах представительного правления, на священных правах собственности, равенства, свободы». Известно, что за этим последовало: глумление над народным представительством, попрание равенства, лишение свободы. Новое слово характеризует эпоху: именно в VIII г. появилось слово *либерал*, которому суждено было известное будущее. Будучи противником якобинства, сектантства, так же как сегодня он — противник догматизма, либерал имел большое преимущество в деле проповедования идеи свободы. Как заявил 19 брюмера Шабо, депутат от департамента Юра: «Если бессмертный день 18 брюмера [день государственного переворота, произведенного Бонапартом] не приведет ни к какому результату, если он не поставит наконец свободу на неколебимые основы, обеспечив пользование ею, то это божество либеральных душ будет навсегда потеряно для Франции». В тот же день 19 брюмера VIII г. в 11 часов вечера Бонапарт в своей прокламации подхватывает это программное слово. «Консервативные, охранительные, либеральные идеи вступили в свои права после того, как заговорщики, подавлявшие Советы², были рассеяны». Последующие годы показали, на каких основаниях первый консул, а вскоре затем император, намеревался утвердить наконец свободу, каким образом он обеспечил пользование ею. Свобода стала теперь не более чем символом. Великие слова 1789 г. отныне маскировали произвол, прикрывали деспотизм.

В зависимости от обстоятельств и от того, кто их употреблял, то были слова, рождавшие иллюзии, или же слова, служившие обману. История таких слов, как *свобода* и *равенство*, с 1789 г. и по 1815 г. хорошо иллюстрирует притказку современной лингвистики: «У слов нет значения, у них есть только употребление».

Конечно, такие слова, как *свобода*, *равенство*,—это слова-иллюзии. Однако они подняли Францию и весь мир, они будоражат его

² Совет старейшин и Совет пятисот.—Прим. перев.

и теперь, придавая жизни смысл. К числу их я добавил бы еще слово *братство*, которое, в отличие от *свободы* и *равенства*, не высечено на скрижалях Декларации прав, будучи не правом, а долгом. И если свобода без равенства — пустой звук, если без равенства она является

лишь привилегией для немногих, то что тогда равенство без братства?

Итак, принципы прагматичны. Остается лишь уточнить, каковы же эти принципы и каким образом они воздействуют на революционные битвы.

Другие материалы из сборника:

<http://istmat.info/node/29224>

В.Г.Ревуненков. К истории споров о Великой французской революции

<http://istmat.info/node/30045>

Библиографический указатель

<http://vive-liberta.diary.ru/p198731704.htm>

Великая французская революция в советской литературе. 1917-1940 гг.

<http://vive-liberta.diary.ru/p198731744.htm>

Великая французская революция в книжной графике. 1917-1940 гг.

<http://vive-liberta.diary.ru/p198731811.htm>

Великая французская революция в советской музыкальной жизни. 1917-1940 гг.

<http://vive-liberta.diary.ru/p198731922.htm>

Великая французская революция в спектаклях советского театра. 1917-1940 гг.

<http://vive-liberta.diary.ru/p198731963.htm>

Великая французская революция в советском искусстве и литературе. 1950-1986 гг.

<http://vive-liberta.diary.ru/p198731989.htm>

В.И.Якоби. “Девятое термидора”

<http://caffe-junot.livejournal.com/34128.html>

М.К.Соколов. Цикл “Великая французская революция”